

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА  
**АЛЕКСАНДРА  
МЕЛИХОВА**



АЛЕКСАНДР  
**МЕЛИХОВ**

ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ



Москва  
2016

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
М47

Оформление серии — *Петр Петров*

**Мелихов, Александр.**

М47 Испытание верности / Александр Мелихов. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 320 с. — (Большая литература. Проза Александра Мелихова).

ISBN 978-5-699-87582-5

Олег не прочь был изменить жене. И когда Светлана ушла на ночное дежурство, а в дом неожиданно заявила их общая знакомая, даже обрадовался. Но дальше все пошло не совсем так, как хотелось. Ночь тянулась словно полярная, а любовь не складывалась. «В чем причина?» — недоумевал Олег. Может быть, в страхе? В страхе перед чужой женщиной? В страхе перед подлостью? А может... в любви к жене? И все, что сейчас он мучительно переживал, — это испытание его верности?

Александр Мелихов в новых и уже известных повестях и рассказах этого сборника исследует подлинность главных человеческих чувств, проверяя их самыми крайними ситуациями.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-87582-5

© Мелихов А., 2016  
© Оформление.  
ООО «Издательство «Э», 2016

Олежка остановился на горячем от солнца пороге, слегка даже пританцовывая — до того припекало; только у косяка было заметно, что порог когда-то начинал обыкновенным прямоугольным брусом, а не продолговатым седлом, как теперь. Мир был белым от солнца, некоторые вещи от белизны совсем почти исчезли, вылиняли до вечера; на других, как на рубашках, выцвели целые кляксы, большущие, как лужи. После сеней на них больно было смотреть, и Олежка изо всех сил щурился, отчего возле его глаз набежали морщинки, вроде тех, что собираются у завязки воздушного шарика, — готовые бесследно исчезнуть. Когда он сощурился, вещи стали испускать разноцветные лучи, размываться сверху вниз. Так всегда бывало, он сколько раз пробовал.

Он посмотрел на небо и подумал: «Много неба». Но вслух не сказал — он уже научился думать про себя, когда не был слишком увлечен.

Постепенно глаза стало можно раскрыть пошире, он и раскрыл пошире, то есть как всегда, — поэтому, задумываясь, он казался испуганным. Он еще раз взглянул на небо и подумал: «Ни фи-га!» — и обрадовался, как хорошо это у него получилось, и прошептал несколько раз: «Ни фи-га». С удоволь-

ствием прислушался к себе и улыбнулся. Улыбка, как и всякое дело, захватила его без остатка, сделав щеки, пока что свежие и чистенько промытые, еще более привлекательными для взрослого щипка, — щеки, на которых, если дунуть, появлялась ямка, как на блюде с чаем. Но дряблости в них было не больше, чем в том же воздушном шарике. Он не был слишком толстым; родители толстых детей считали его даже чересчур худеньким. Правда, родители худеньких считали его слишком полненьким. В его лице было что-то тонкое и хрупкое, но это замечала только мама.

Вдруг он догадался, как устроено небо: оно накрывает землю как шапка, и он с удовольствием повторил одними губами все разъясняющее слово: «Как шапка, как шапка».

Прищепки с раздвоенными хвостами уселись на бельевую веревку, как ласточки. Рубашки, повешенные за руки, в отчаянии простерли руки к небу. Другие безнадежно повисли, перевесившись животом, третьи раздувались пузом, как дедушка, и, вися вниз головой, бестолково отмахивались.

Поджимая пальцы на ногах, чтобы не прикасаться к горячей, растресканной земле, Олежка отправился к ручью за домом, стараясь наступать на жиденькие кустики пыльной травы. Но возле ручья трава заструилась густой мягкой благодушной бородой, и немедленно подошвы исчезли для него, а только что в них сосредоточивалось все его существо.

В ручье как-то грудью перла, валила прозрачная вода, шевеля на дне траву, такую же, как на берегу, но взлохмаченную, будто ее сначала вымыли с мылом, а потом вытерли полотенцем. Над дном катило медленно извивающуюся черную ленту — пи-

явку, совсем возле берега. Дурак он, что ли, — не поймать пиявку! И все его существо тут же переселилось в пиявку.

На концах у нее два пяточка, как у свиньи, но один конец широкий, а другой почти острый. В руках она все время выщупывает что-то острым концом, принюхивается, слепо присматривается. В тонких местах она ребристая, как шланг от противогаза, — противогаз он видел у Димаса, — а в толстых — сочно морщинистая, как человеческая губа. Он попробовал, одновременно ощупывая пиявку и губу, сравнить их, но ничего не разобрал.

Держишь пиявку, а она то мягкая, как кисель, а то вдруг окажется между пальцами резиновый комочек в ней, и она перегоняет между ними резиновый комочек за комочком, смотришь — и вылезла, надо снова перехватывать.

— Укуси, — попросил ее Олежка, поеживаясь от интереса и страха, даже щекотно стало, — и она послушалась, приклеилась к ладонке пяточком. А вдруг теперь не оторвешь! Он потянул ее за хвост, она натянулась, как шнурок от ботинка, но не выдержала и отпустилась.

«Характер подвел», — подумал про нее Олежка. Но она снова начала его ощупывать, и это теперь его беспокоило. Он захотел стряхнуть ее, но она прилипла, и он, не выдержав, затряс рукой с ужасом и отчаянием. Пиявка шлепнулась в ручей и, как ни в чем не бывало, поволоклась дальше, немедленно исчезнув для него, потому что он уже стал рассматривать в заводи клопа-водомерку.

— Хищник, — с уважением прошептал Олежка. Это ему сказал Костя, он их проходил по разделу «Животные и растения мелких водоемов». «Пусть укусит», — замирая от отчаянности, подумал Олж-

ка и, как головой в прорубь, схватил клопа ладошкой. Долго рассматривал пухлую ладошку, не понимая, как она могла оказаться пустой. Посмотрел в бухточку — клоп преспокойно сидел там.

— Ха-ха-ха, сидит такой, — засмеялся Олежка и изобразил, как клоп сидит себе преспокойненько и, важничая, крутит головой туда-сюда, будто ему и дела нет, что его хотят схватить. На этот раз Олежка долго целился, но клоп в последний миг словно исчезал и тут же возникал чуть в стороне.

Олежка вспомнил, что клоп — хищник, и решил приманить его крошечной мушкой, сидевшей на застывшей травянисто-студенистой зеленой пене у берега. Мушку поймал легко: сначала навел на нее тень головы, чтобы она потом не испугалась тени ладошки, хватать — и поймал.

Он так и этак подсовывал мушку клопу, но тот и не глядел в ее сторону. «Не ест сухопутных животных», — догадался Олежка. И решил в последний раз попробовать ухватить-таки неуловимо проворного клопа.

— Последний раз! — предупредил он себя и шлепнул по воде так, что весь усыпал себя брызгами, осторожно раскрыл ладошку — ни хвоста. «Ну ладно, теперь самый последний раз», — позволил себе Олежка и снова цапнул по воде. «То был последний раз, — рассудил Олежка, — а теперь будет последний разочек», — и снова шлепнул. И снова мимо. А теперь самый последний, а теперь еще последний, а теперь самый-самый, а теперь самый-самый-самый, а теперь самый-самый-самый-пре-самый, а потом, уже не зарекаясь, хватал до тех пор, пока с водяным мусором не увидел на ладошке узенькую семечку с иголочными лапами.



— Как семечка, — пробормотал Олежка — он с начала ловли уже думал вслух — и остороженько стряхнул клопа в воду. Клоп сидел неподвижно. «Контузило», — понял Олежка.

К счастью, он вспомнил, что раны зализывают слюнями, и принялся плевать в клопа, но никак было не попасть. Истратил все жидкие слюни, пошли уже густые, как пенистый клей, что уже и не плевались, а только разбрызгивались мелко... К счастью, клоп тем временем выздоровел сам.

За домом зашумела машина — к их домам они редко подъезжают, — и Олежка бросился посмотреть. «Москвичок». Легковушка-лягушка. Можно попроситься, чтоб покатали, но это была зеленая, а, он замечал, берут только синие.

Интересно, легковушки кто-то сделал или они сами в природе были? Настоящих же лягушек никто не сделал, они сами родились.

Раз уж снова оказался возле дома, Олежка решил зайти поклониться чего-нибудь у бабушки. Но возле порога чуть не полетел от толчка в спину, от чего по его лицу метнулся ужас, мигом растворившийся без осадка в радостной улыбке.

— Кольбен! — восторженно-мечтательно протянул он. — Ты, к счастью, меня наконец нашел, — он часто выражался «по-взрослому», и взрослые смеялись, слыша от него выражения, услышанные им от них же. Это в самом деле был Колька, кривлявшийся не только лицом, — даже на пыльный живот то набегала, то пряталась складочка, похожая на неискреннюю растянутую улыбку.

Олежка сиял от счастья. А Колька уже дразнился — да как! — все стихами, все стихами!

— А ты обзывайся больше, — укоризненно попросил не дразниться Олежка, не в силах справиться

ся с восхищением. — Знаешь, кто обзывается, тот так и называется, — робко напомнил он.

— Олежанный-беспшанный, Олежище-дурачище, — сладко выводил Кольбен, будто и не слышал.

И Олежка вспомнил новейшее средство.

— Синяя улица, дом петуха, кто обзывается — сам на себя, — заспешил он, заранее радуясь, что Кольбену против этого нечего будет возразить, потому что сам же он Олежку и обучил этому заклинанию.

— Нескладно — у тебя в трусах прохладно, — мгновенно среагировал Кольбен и продолжал петь-разливаться, заходясь до поросячьего визга: — Олехон-дуромон, Олехора-мухомора.

— Ты же сам говорил, — дрогнувшим от огорчения голосом напомнил Олежка. — Синяя улица, дом петуха... — Он хотел остановиться, но не умел недоговаривать до конца, помолчит секунду, потерпит, а потом-таки докончит, хоть вполголоса. — Кто обзывается — сам на себя.

Кольбен, ни на миг не задумавшись, отбрил:

— Касса закрыта черным ключом, кто обзывается, тот ни при чем.

Олежка восхищенно повторил про себя, старательно шевеля губами. А Колька вдруг сделался вдумчивым и ласковым, обнял счастливого Олежку за плечи и повел по кругу, доверительно выкладывая:

— Слышь, Олег? Будь другом, притартай огурца. — Брови у него извивались, как пиявки, и губы шевелились, как две потресканные пиявки.

— Так у меня нету, — расстроился Олежка.

— А ты в палисаднике стыбзи. А то будешь жадина-говядина — пустая шеколадина.

— Ладно, я у бабушки спрошу, — потупился Олежка.

— «У бабушки»! Совсем уже? У твоей бабушки... Скажи лучше, что сдрейфил. Трус, трус, карапуз, на войну собрался, как увидел пулемет, сразу обмарался. Смотрите, граждане, — трус!

Обращения к гражданам Олежка уже не вынес. А Колька тем временем тормозил его: «Что, обмарался? Обмарался?» — и лез щупать Олежкины трусики. Олежка влюбленно, но застенчиво вывернулся и направился к редкому, в крупную, почти символическую клетку забору — палки-кривулины, прибитые к двум горизонтальным жердям. Многие палки были лопнутые вдоль, как сосиски, но не от излишнего полнокровия, а как будто от безнадежности.

— Куда, куда пошел! — появилась бабушка, но мир настолько сосредоточился в Кольбене, что Олежка с трудом мог ее разглядеть. — Ты чему его научаешь, сатаненок сухой? Возьму прут да настегаю по заднице по сухой!

Слова ее с трудом доходили до Олежки, но он понял их невозможный, кошунственный тон и смысл:

— А я вырву у тебя прут, и останешься без прута! — И почти со слезами: — Почему ты так грубо с моим другом разговариваешь?

— С другом! Не с другом, а отшмутувать его ладом, вот тебе и весь друх.

— Не отшмутувать! Не отшмутувать! Я не буду его шмутувать, моего друга, поняла! Моего друга?! Поняла?!

— «Отшмутувать», — рассмеялся Колька. — Такого русского слова нет!

— Ишь, шкода востроносая! Отшмутую вот, дак будет.

— Не будет! Не будет! — Это Олежка. Он, кстати, не считал Кольку остроносим, и вообще ему казалось, что все ругательства — востроносый, хромой, дурак — означают примерно одно: ты мне не нравишься.

— А ты чего плакал? — Бабушка увидела на Олежкином лице капли от клопа-водомерки. — Он тебя бил?

— Никто меня не бил!

— А ты не покрывай его, не покрывай. Ну? Скажи бабушке правду? Ну? — Бабушка сделалась ласковой и алчной. В серьезных случаях она всегда называла себя в третьем лице, давила чином.

— Я тебе сто раз сказал: никто меня не бил!

— Дурачочек маленький! — с невыразимой нежностью и жалостью заключила бабушка, но потом заключила еще раз:

— Скажу папе, что он тебе бьет, а ты бабушке правду не хочешь сказать. — С этим бабушка и улетучилась куда-то. Если речь могла иметь несколько красивых завершений — кротких или воинственных, патетических или насмешливых, — бабушка, не желая терять ни одного, использовала их все поочередно.

Впрочем, она возникла еще раз, — наверно, это случилось скоро, судя по тому, что Колян отошел всего шагов на пять, — ну, и Олежка с ним, конечно. Бабушка надела на Олежку панамку, а когда она отошла, Колька снял панамку и закинул, только она была легкая и далеко не полетела.

— Да что ж ты делаешь, сухоття?! — удивилась бабушка.

— Ничего, молодой, сбегает, — поощрительно ответил Колька.

— Ничего, я сбегаяю, — разъяснил Олежка, сияя от радости, и бесшумным вихрем бабушку снова вынесло за пределы мира.

Олежка не сразу нащупал панамку: не сводил глаз со своего сказочно находчивого друта.

Они с Колькой почти ровесники, про них говорят, что они «с одного года», — хоть Олежка и не знал, что, в сущности, означает «с одного года». Но так часто говорили про ровесников, поэтому и он говорил. Они с одного года, а Кольбен все уже знает, как большой, ну, например, как семиклассник. Или даже как комсомолец. Он знает, сколько было войн: финская, Гражданская, немецкая, отечественная и Александр Невский. Он знает все виды немецкого оружия: шмайсер, вальтер, парабел и «Ванюша». А уж русское — это ему знать все равно что вот столечко, ну вот полмизинчика. Даже меньше — вот, вот столечко, меньше полногтя. Даже еще меньше.

Колька срывает одуванчик, пух сдувает Олежке в лицо, а с разломанного стебля велит слизать пахучее белое молочко, и Олежка полчаса не может отплеваться.

— Из него делают горький мед, — объясняет Колька. — А вот это змеиная трава, из нее делают уксус.

— Мне папа говорил, — робко пытается дополнить Олежка, заслоняясь папой, который, впрочем, сейчас тоже неуверенно бродил по окраинам вселенной блуждающим огоньком, — мне папа говорил, что уксус тоже получается еще из вина.

— Что? Ха-ха-ха! Уксус — из вина! Проспись и больше не пей. Вино пьют, а уксуса выпей — все

кишки сварятся. — («Откуда Колька все знает! Больше папы...») — Ты как скажешь, как в лужу... Я могу из этой травы хоть канистру уксуса сделать.

— Конечно, правильно, лучше дома делать, — изо всех сил одобряет Олежка, — в магазине в очереди настоишься — интерес собачий.

— В очереди? Ха-ха-ха! Ну, поздравляю, — Колька кланяется, разведя руками, закатив глаза и высунав язык.

— Не надо, — рассудительно предупреждает Олежка, — а то вдруг тебя напугают, и ты так и останешься.

— Моя мать никогда в очереди не стоит. Как что надо, она сразу, — Колька, поджав губы, принимает деликатный вид: — Зиночка, — тоненьким деликатным голосом, — что у тебя сегодня? — и обыкновенным голосом: — Она ей через головы подает, и дело в шляпе.

Олежка внимает.

Кто-то решительно, но дружественно обнял их за плечи и голосом сурового человека, не сумевшего сдержать заслуженной гордости, произнес: «Сыновья!» Олежка сразу понял, что это Дима, или Димас, и что он собирается поиграть с ними «в сыновья». Олежка, понемногу переставая существовать, поднял голову и увидел мечтательно и гордо устремленные вдаль глаза Димаса, губы, тоже похожие на уложенных друг на друга красных пиявок, белые, как у свиньи, брови, — кстати, сравнение «как у свиньи» не казалось ему снижающим, он еще не знал, что сходство может возвысить или опорочить. Щеки Димаса были подернуты как бы белой пылью, но не уличной, порошковой, а прекрасно знакомой Олежке подкроватной, подшкафной воздушной пылью, — это у Димаса уже начинала расти

борода. За верхней Димасовой губой, внутри, начинала вздвигаться еще одна губа, более пухлая и рыхлая. Снизу ее хорошо видно.

— Ну, кто самый храбрый? — возгласил Димас. — Кому залимонить?

— Мне! — просветлев, выступил вперед Олежка: он знал, что когда речь идет о подвиге, раздумывать нельзя. Он гордо и печально вскинул голову, стараясь не выдать подмывающей радости.

— Залимонить? — Смотри, мол, не пожалей.

— Залимонь! — Какой у него замечательный голос, гордый и прощальный.

— Молодец! — с суровым напором похвалил Димас. — Подставляй грудь.

Олежка, скрывая торжество за показной жертвенностью, выпятил грудь. Он вдруг с радостью понял, что по возрасту он уже мог бы почти быть, например, связным у партизан.

Димас хватил его кулаком в выпяченную грудь.

— Ну как? — спросил Олежку с суровым участием, но и напористо, как бы призывая оказаться на высоте своего подвига.

— Нормально, — небрежно ответил Олежка через несколько секунд, которые провел между жизнью и смертью.

— Молодец! — с суровым торжеством подытожил Димас. — Силач!

— Три года ломал калач, — прибавил Кольбен, но это не уменьшило Олежкиного скромного ликования.

— А ну, теперь ты, Кольбан, — Димас звал Кольку не Кольбеном, а Кольбаном, и в его присутствии Олежка тоже начинал называть Кольку Кольбаном. Колька, однако, не пожелал воспользоваться счастливым случаем. Своего же везения не понимает!